

Продолжение.
Начало в "РМ" №4154.

Александр Галушкин

У «Зеленой стены»

Евгений Замятин в «задержанной» эмиграции

Первое свое прошение о выезде за границу Замятин адресует 30 сентября 1929 года А.Рыкову.

«В Англии я видел такое развлечение: негр из окна будочки вынул голову, все время вертит ею, а публика издает швыряет в эту голову мячами — по одному пенсу за мяч.

Последние восемь лет я состою в должности такого негра для советской прессы. Из написанного мною за все эти годы не было ни одной вещи, не прошедшей цензуры, — и не было ни одной вещи, которая не вызвала бы газетной травли. Совершенно достаточно было того, что вещь подписана моим именем. <...>

Теперь, в сентябре этого года, по моему адресу открыта была новая, ожесточеннейшая из всех бывших до сих пор, кампания газетной травли. <...>

Эта последняя история окончательно убедила меня в том, что, по крайней мере, в данный момент мое присутствие в Советской России — явно излишне — и для Советской России, и для меня. Поэтому я прошу разрешить мне (вместе с женой) выехать за границу, хотя бы на год. Это — для меня единственное средство восстановить свою трудоспособность и привести в порядок нервную систему, жестоко расшатанную всем пережитым мною за последние годы. Вместе с тем, может быть, то, что я увижу на Западе, скорее поможет мне понять то, чего я, очевидно, еще не понимаю в революции» (Рукописное наследие Евгения Замятина. СПб., 1997).

За два месяца до этого с аналогичным письмом наверх обращается и близкий друг Замятина Михаил Булгаков. Возможно, писатели обсуждали друг с другом содержание своих заявлений. Письмо Булгакова датировано июлем 1929 года и адресовано генеральному секретарю ЦК И.Сталину, председателю ВЦИК М.Калинину, начальнику Главискусства Наркомпроса А.Свидерскому и А.М.Горькому. Обратим внимание, что первым в этом списке стоит Сталин (формально не являвшийся главой советского государства); замятинский же адресат — тогдашний председатель Совета народных комиссаров. Различными были и выбранные писателями тактики поведения. Позднее, при обсуждении булгаковского письма Сталину в марте 1930 года, Замятин говорил Булгакову: «Вы совершили ошибку — поэтому Вам и отказали. Вы неправильно построили свое письмо — пустились в рассуждения о революции и эволюции, о сатире!.. А между тем надо было написать четко и ясно — что Вы просите Вас выпустить — и точка! Нет, я напишу правильное письмо» (свидетельство С.Ермолинского приведено в книге: М.Чудакова. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988).

Свои «правильные письма» Замятин, однако, не только направлял официальным путем, но и передавал через Горького. Так было и с письмом Рыкову. По поводу своего решения Замятин писал тогда Горькому: «Не смотрите на то, что я разговаривал с Вами довольно весело: весело я, может быть, и умирать буду. А правду говоря — тяжело, и что я буду делать — если не удастся хоть на время уехать — не знаю» («Русская литература», 1987, №4).

Поначалу дела Замятина шли вполне обнадеживающе. 11 октября он получает официальный ответ из Секретариата по приему заявлений и жалоб Управления делами СНК и СТО, в котором его просят подробно изложить причины своего решения. Не менее недели уходит у Замятина на составление подробного ответа, ставшего своеобразным обвинительным заключением советской литературной критике.

Один из партийных деятелей 1920-х годов, сожалея о том, что литература — как ни крути — остается неподконтрольной, призывал сделать из критики «литературное ГПУ». Более чем часто советская критика эту задачу и выполняла; причем ее приемы, как это видно и из приведенных документов, оказывались весьма близки к методам ОГПУ.

Протицирую наиболее выразительные примеры (некоторые из них Замятин позднее использует в своем знаменитом письме к Сталину 1931 года):

«С помощью каких приемов организовывалась иногда газетная кампания против некоторых моих работ, может показать хотя бы история небольшого моего рассказа «Слово предоставляется т.Чурыгину» (т. IV Собр. соч. изд-ва «Федерация»). Текст рассказа не оставляет ни малейших сомнений в том, что действие происходит в самом начале Февральской революции (анекдотический сюжет рассказа построен на своеобразном преломлении убийства Распутина в сознании неграмотного деревенского парня). И все же не кто-нибудь, а В.Фриче, не где-нибудь, а в московской «Правде» (8/VIII, 1927) не постеснялся написать, что Замятин в этом рассказе «явно издевается над самой Октябрьской революцией». С легкой руки Фриче вокруг рассказа создалась целая серия аналогичных отзывов.

Примерно такими же способами организовано было «общественное мнение» вокруг другой моей работы, гораздо более серьезной, чем анекдотическое «Слово т.Чурыгина». Я имею в виду «Рассказ о самом главном» (т.IV. Собр. соч.). Для непредвзятого читателя — основная идея этой вещи бесспорна: в рассказе — червь умирает, чтобы превратиться в бабочку, мертвая планета сталкивается с землей, чтобы зажечь новое солнце, люди в революции гибнут, чтобы родился новый мир. Эту концепцию Машбиц-Веров («На лит. посту», №17-18, 1927) без зазрения совести выворачивает так: «В рассказе перед лицом непонятных, колоссальных исторических событий мещанин высовывает свою физиономию и вызывает: «Не мешайте наслаждаться жизнью!». И критическое тавро уже прочно наложено на рассказ.

Желание во что бы то ни стало отыскать в моих работах «контрреволюцию» не раз приводило рецензентов к приключениям совершенно анекдотическим. В моей коллекции есть, например, статья некоего Левина («Литер. еженедельник», №20-21, 1923 г. — прилож. к «Ленингр.

правде»), где он открывает в моей сказке «Бог» издевательство над революцией в связи с переходом с введением НЭП'а; оказывается, НЭП я предвидел еще в 1916 году — ибо



Евгений Замятин.

сказка «Бог» была напечатана в 1916 г. в журн. «Летопись» (см. т.IV. Собр. соч.).

Точно так же в рассказе «Инок Эразм» (т.IV. Собр. соч.), написанном в 1920 году и представляющем собою не что иное, как пародию на «жития», на монастырское сказание, — критик Машбиц-Веров открыл «притчу о поумневших (после НЭП'а) вождах»: «НЭП Замятин воспринял как исцеление вождей, а с ними и масс, как возвращение к старому... Рассказ этот — мещанская философия революции после НЭП'а».

Я привел только наиболее типичные случаи: всех не перечислить. С 1921 года — я был избран главной мишенью для советской критики. С этого года рецензия обо мне — это, преимущественно, словарь крепких

слов, начиная от «классового врага», «кулака», «мещанина», «махрового реакционера», «зубра» — вплоть до... шпиона, каковым меня недавно объявил М.Кольцов («Чудак», №35, IX, 1929) <...>.

То, что я никогда не скрывал своего отношения к почти повальному литературному раболепству, прислуживанию и перекрашиванию — это, мне кажется, является второй причиной травли. Посвященные именно этому вопросу две моих статьи — «Я боюсь» (журн. «Дом искусств», 1, 1920) и «О сегодняшнем и современном» (журн. «Русский современник», 2, 1924) — вызвали особенные нападки; первая из них едва ли не была исходным пунктом всей восьмилетней газетной журнальной кампании против меня.

Особенности моего литературного зрения, свойственная мне, как писателю, сатирическая установка, может быть, даже уменьшение изображать положительные типы — это еще одна из причин создавшегося ко мне отношения.

Возможно, наконец, это отношение усугубляется и тем, что во время революции 1905 года и позже — я был большевиком, отбывал соответствующую тюремную повинность, был выслан (в 1911 г.), был привлечен к суду за антимилитаристскую повесть («На куличках», судебное дело — с 1914 по 1917г.).

Весь изложенный материал я даю здесь именно потому, что получил об этом запрос от Секретариата. Я отнюдь не имел и не имею в виду обременять Председателя Совнаркома жалобами на травлю по моему адресу в советской печати. Об этой травле в своем письме от 30/IX я был вынужден упомянуть для того, чтобы объяснить один из основных мотивов, заставивших меня обратиться к А.И.Рыкову с просьбой о разрешении мне выезда за границу.

Иного выхода из создавшегося для меня положения — я не вижу, и

сейчас это для меня еще яснее, чем три недели назад.

Резолюции московских и ленинградских правлений Союза Писателей, принятые — будем говорить прямо: под давлением со стороны, — требуют от меня «отказа от идей», девять лет назад выраженных в романе «Мы» («Лит. газ.» от 14/X с.г., п.2 Ленингр. резолюции и п.3 Московской). Таких нелепых требований никто не пытался предъявлять к писателю даже в царское время. То, что сделано, что существует — объявить несуществующим я не могу.

О последствиях — я предупрежден все той же «Лит. газетой» (№ от 14/X): «Если Е.Замятин станет высокомерно упорствовать в своих ошибках, то будут разорваны последние нити, связывающие его с советской общественностью... Е.Замятин должен понять ту простую мысль, что страна строящегося социализма вполне может обойтись без такого писателя».

Эту простую мысль — я понял. Я понял, что на время, пока не изменятся утвердившиеся у нас взгляды на литературу или не изменюсь я — Советской России и советской литературе я не нужен.

Совершенно ясно, что при создавшемся положении продолжать оставаться здесь — для меня означает литературную смерть, молчание. Мне думается, что смертного приговора я все-таки не заслужил, и кое-что — хотя бы в моем прошлом — дает основания этот приговор смягчить. И потому я еще раз обращаюсь с настоятельной просьбой: разрешить мне, вместе с женой, выезд за границу на один год. Политической деятельностью заниматься я не собираюсь — я хочу только продолжать свою жизнь как художник слова. И если обстоятельствами я приведен к временной невозможности быть русским писателем и писать о России — быть может, мне удастся (как это удалось поляку Джозефу Конраду) стать на время писателем английским и писать об англосаксонских странах, тем более, что по-русски о них я уже писал (см. повесть «Островитяне» и др. в т.III Собр. соч.), а писать по-английски мне немного труднее, чем по-русски».

Москва

Окончание следует.